

СВЕТЛАНА ВОЛОШИНА*

ДОНОСЫ И АГЕНТСКИЕ ДОНЕСЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ «ИНТИМНОГО» ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЛАСТЬЮ**

Аннотация: В статье рассматривается своеобразие функций и жанрово-стилистических особенностей доносов во время правления императора Николая I. Для этого периода характерно отсутствие представительных органов, любых институциональных практик коммуникации с властью и возможности более или менее открыто выражать мнение в прессе с одной стороны, и стремление императора к прямому вмешательству во все сферы жизни подданных с другой. В создавшихся условиях большую роль приобрели доносы и донесения как прямое, интимное общение подданных с властью через посредничество III отделения Его Императорского Величества собственной канцелярии. III отделение выступало непосредственным медиатором от «маленького человека» к самодержцу Российскому, что позволяло первому миновать официальные бюрократические промежуточные этапы, устанавливая тем самым близкие, личные отношения с властными структурами. Для доносов и донесений этого периода характерны специфические жанрово-стилистические особенности: исповеди, интимного, «сыновнего» послания, призванно подчеркнуть неофициальный, внебюрократический, патриархально-личный характер отношений подданного и власти. Кроме того, доносы и донесения нередко использовались как способ косвенного влияния на властные структуры.

Ключевые слова: доносы, донесения, III отделение, власть, Николай I, А. Х. Бенкендорф, Л. В. Дубельт.

DOI: 10.17323/2587-8719-2019-3-2-109-127.

При отсутствии в государстве налаженных правовых механизмов одним из очевидных способов решения частных проблем становится прямое обращение граждан к высшим эшелонам власти в обход не работающих промежуточных, законных, институциональных структур. Один из старейших подобных прямых способов взаимодействия с высшими структурами власти — доносы.

По воцарении Николая I, предпочитавшего «ручное управление» государством, количество доносов и доносчиков, как штатных, так и действовавших по велению сердца, резко возросло¹. Увеличение количества

*Волошина Светлана Михайловна, к. филол. н., преподаватель, Российский государственный гуманитарный университет (Москва), s.m.voloshina@gmail.com.

**© Волошина, С. М. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

¹Подробнее об этом см., например, Рейтблат, 2016: 158–159.

доносов связано с появлением III отделения (1826 г.)²: тайная полиция стала промежуточным звеном между обывателем и высшими государственными силами, представителем императора в решении общих и частных невзгод «маленького человека». При недоверии к полиции и отсутствии налаженного и сколько-нибудь скорого делопроизводства в судах такое прямое, личное обращение непосредственно к власти обещало оперативную помощь. Этот модус прямого, «интимного» взаимодействия с властной структурой неизбежно формировал и особый язык обращений: доносов и донесений.

Здесь представляется нелишним сделать уточнение терминологического характера, касающееся синонимичности и различий понятий «донос» и «донесение». Письменные источники, упоминаемые в статье: записки (в т. ч. агентурные), послания, письма, сообщения, полученные в то или иное время администрацией III отделения Е. И. В. Канцелярии, зачастую не имеют точного терминологического разграничения в описываемый в статье период. Согласно словарю Даля, «донесение — рапорт начальству»; «донос, довод на кого-либо, не жалоба за себя, а объявление о каких-либо незаконных поступках другого» (Даль, 1903: 1164). В этом отношении, например, цитирующиеся ниже записки подчиненного Дубельта, подполковника штаба корпуса жандармов Александра Дмитриевича Васильева, можно назвать и донесениями (учитывая «место работы» последнего), и доносами, т. к. сводить их к «рапорту» совершенно безосновательно. В то же время, считать «донос» и «донесение» полноценными синонимами было бы неверно. Более детальный анализ (как исторический, так и терминологический) этих двух понятий потребовал бы самостоятельного обширного исследования, заставившего бы слишком отклониться от непосредственной темы статьи, не будучи при этом продуктивным ни для ее содержания, ни выводов.

В отличие от жесткой регламентации и установленных лексических норм письменного канцелярского бюрократического языка, использовавшегося в коммуникации между чиновниками, в котором обращения к вышестоящим по чину не просто регламентировались лексически, но имели заданные формулировки, эпистолярные обращения-доносы часто не просто отступали от этих иерархических формул, но и вовсе приобретали черты личных посланий, полуисповедей. Авторы доносов, жалоб и агентурных донесений не только описывали внешние обстоятельства «дела», но делали акцент на личные впечатления, «моральный урон»

²См., например, Дмитриев, 1998: 259.

от совершающихся неправомочных действий. Представитель власти (чаще всего — чиновник III отделения) делался непосредственным поверенным в делах, внимательным слушателем, личным заступником перед произволом.

Стоит отметить, что доносчики и агенты обращались не просто «в структуру», а адресовались к конкретному лицу. Власть еще не превратилась в отвлеченный высший орган, безликую силу, а имела вполне конкретные лица, и предполагалось, что имеет те же чувства и понятия, что и доносчик; таким образом, апелляция к чувствам, по мнению адресанта, была кратчайшим путем к достижению цели.

Функциональность и прагматика доносов определяла и их специфическую «поэтику» — так, в доносах закономерно отражаются центральные для эпохи литературные каноны и направления, правда, нередко с некоторым запаздыванием:

Доносы первой трети XIX века имеют свою поэтику и порой срастаются с «настоящими», каноническими для эпохи литературными жанрами — публицистическими, беллетристическими и поэтическими. Даже донесения Фаддея Булгарина в III Отделение, выполняющие отчетливые прагматические функции, питаются романтической парадигматикой, широко используют романтические коллизии, строят образы врагов отечества по моделям романых персонажей. Между тем на основании болгаринских доносов создавались годовые отчеты III Отделения, предлагавшие параметры для внешней и внутренней государственной политики (Проскурин, 2000: 15–16).

В 1830–50-х гг. в доносах и донесениях, помимо упомянутого романтического направления, отчетливо различимы черты сентиментализма, и иногда — архаического «высокого штиля» середины–конца XVIII в. И если черты «романтической» литературной традиции усиливали драматический пафос доноса (донесения), то сентименталистская парадигматика подчеркивала личные переживания «несчастливого и обиженного», призывала к сочувствию. Кроме того, сентиментализм как стиль доноса был очевидным ответом на навязанную III отделением ролевою модель: согласно широко цитируемому анекдоту, Николай I якобы выдал шефу жандармов Бенкендорфу белый платок, чтоб тот утирал «слезы несчастным и обиженным» (Ломачевский, 1880: 155). Таким образом, «обиженный» ожидаемо демонстрировал не праведный гнев и возмущение, и не холодный анализ проблемы, а слезы. Что касается почти ломоносовского одического «высокого штиля» в доносах, то он прежде всего использовался авторами в освещении вопросов государственных

и патриотических — злоупотреблений по службе официальных лиц или в описании настроений в обществе при сложных политических событиях. Таким образом подчеркивалась важность вопроса, осознание автором высокой степени опасности, и заодно манифестировалась собственная политическая благонадежность.

Как уже упоминалось, количество доносов с созданием III отделения сильно увеличилось и к концу правления Николая I было значительным. Поэтому в качестве большинства источников для статьи кажется целесообразным выбрать не доносы «от населения» (тематика, стиль, и язык которых весьма разнообразны и во многом зависят от уровня образования, принадлежности к сословию и среде доносчика), а донесения постоянных агентов и других служащих III отделения. Количество их хоть и велико, но вполне обозримо, а так как к подбору кадров в тайной полиции подходили ответственно, то особенности языка донесений агентов следует скорее соотносить не с, например, недостаточным уровнем образования, а со следованием магистральным «трендам» — прежде всего, с упомянутыми литературными направлениями, а также с сознательным «навязыванием» определенного модуса и риторики со стороны верхушки ведомства. Помимо этих донесений используются и доносы Ф. В. Булгарина (здесь терминологическая сложность достигает пика: Булгарин, не будучи штатным агентом III отделения, был, тем не менее, с ним тесно связан, и понятия доноса и донесения здесь почти смыкаются).

Ограниченный объем статьи предполагает и неизбежное сужение хронологических рамок: наибольшее число рассматриваемых ниже донесений относится к 1840-м гг., прежде всего к периоду «мрачного семилетия» 1848-1855 гг. Донесения, сделанные непосредственно после известий о революциях во Франции и других европейских странах, вполне объяснимо обладают большим эмоциональным градусом, и, что более важно, представляют собой яркий отклик на модели гражданственности, языка и риторики, сформулированные и навязываемые властью.

Упомянутое увеличение числа доносов, конечно же, не было лишь спонтанной реакцией на появление учреждения как посредника между императором и рядовыми подданными. С самого начала образ жандарма и вообще сотрудника тайной полиции тщательно продумывался и выстраивался начальством. Тайная полиция мыслилась как доверенное лицо обывателей, самой силой вещей вхожее в их личные, интимные

дела. Соответственно выстраивалась и определенная поэтика этих взаимоотношений. То же самое справедливо и для агентских донесений.

Сознательное построение образа жандарма (и «работников» III отделения в целом) имплицировалось еще в секретной инструкции для штаб-офицеров корпуса жандармов, составленной Бенкендорфом в сентябре 1826 г. (Оржеховский, 1982: 58). Среди прочего Бенкендорф определял цель работы своих подчиненных как «предупреждение и отстранение всякого зла» (Шильдер, 1903: 468). Таким образом, жандармы мыслились чем-то вроде «ангелов-хранителей», добрых опекунов обывателей, причем даже эта туманная формулировка явно предполагала, что для отстранения «всякого зла» «ангелы» должны быть в курсе всех сторон жизни своих подопечных. Тот факт, что копии «секретной» инструкции направлялись для ознакомления всем гражданским, военным и генерал-губернаторам, и что содержание довольно быстро стало известно образованному обществу с явного одобрения Бенкендорфа (Бибииков, 2009: 157), подтверждает намерение власти «внедрить» и популяризировать как новый образ сотрудников тайной полиции, так и модель прямого взаимодействия обывателей с властью.

Этот подспудный *message* был совершенно верно считан современниками. Показательна в этом отношении реакция Ф. В. Булгарина (не замедлившего встроиться в новую иерархическую систему как минимум в роли осведомителя), докладывавшего Бенкендорфу о сравнении инструкции с «уставом Союза Благоденствия» и своей радости по этому поводу (Видок Фиглярин..., 1998: 140). Для многих других подспудный смысл инструкции был также очевидным, однако реакция — куда более сдержанной:

Я достал, с большим трудом, инструкцию, которая давалась Бенкендорфом его тайным агентам. Это что-то похожее, как будто писано калифом Гарун Альрашидом к визирю Жиафару. Учреждение имело целию тайно изыскивать виноватых и правых, порочных и добродетельных, дабы первых наказывать, а вторых награждать, особенно же преследовать взяточников. С этой целию дозволено им было путаться во все дела: и судебные, и семейные. А основано было это право жандармов, как сказано в инструкции, на их собственной добродетели и на чистоте их сердца, в том, вероятно, предположении, что всякой, надевающий голубой мундир небесного цвета, тотчас делается ангелом во плоти! (Дмитриев, 1998: 257–258),

— печально иронизировал М. А. Дмитриев.

Смысл и цель инструкции Бенкендорфа коррелирует и с уже упомянутой «легендой о платке», так что появление этой ролевой модели

восходит к Николаю I, а развитие и популяризация принадлежит «верхам» тайной полиции. Именно Бенкендорф «внес в мир» как модель прямого, «любовного» взаимодействия власти (в ипостаси III отделения) и народа, так и соответствующую риторику. Один из штаб-офицеров вспоминал устные наставления шефа: «Ваша обязанность — утирать слезу несчастных и отвращать злоупотребления власти, а обществу содействовать быть в согласии. Если будут *любить* вас, то вы легко всего достигнете (курсив здесь и далее мой — С. В.)» (Стогов, 2003: 108).

Жандармский штаб-офицер... обязан *частным образом* стараться направить на путь справедливости принявшее неправильный ход дело... а вместе с тем стараться приобрести общее уважение и следующую за оным безусловную доверенность... из сего явствует, что *уметь заставить любить себя* в губернии есть одна из первых обязанностей жандармского штаб-офицера... (Бибииков, 2009: 163),

— продолжал наставления Бенкендорф.

Позже Л. В. Дубельт (начальник штаба Корпуса жандармов с 1835 по 1856 г. и управляющий III отделением с 1839 по тот же 1856 г.) не только подхватил выстроенную начальником модель и риторику, но и упорядочил ее, развил и сделал органической частью бюрократической системы. На поприще этой системы внутри ведомства Дубельт вообще сделал немало: в частности, урегулировал форму ежегодных отчетов. «Следует отметить, что именно при Л. В. Дубельте была отрегулирована сложная система делопроизводства лазоревского ведомства. Отчеты стали точными, объемными, получили разделения на параграфы» (Россия под надзором, 2002: 10), — отмечают М. В. Сидорова и Е. И. Щербакова. Дубельт «достроил» эту вертикаль между «царем-батюшкой» и подданными, включив в нее промежуточное звено — тайную полицию и себя в ее средоточии. При Дубельте III отделение стало полноправным заместителем царя — в его ипостаси защитника слабых и отца народа. Из построения этих квазиродственных, почти семейных, интимных отношений и выходит тот специфический стиль и лексика, что отличали агентские донесения, адресованные Дубельту.

В качестве примера стоит рассмотреть несколько донесений о состоянии умов и настроений в Москве в 1848 г., после известия о февральской французской революции (полностью донесения находятся в деле О наблюдении в России по случаю политических переворотов в Европе..., 1848, некоторые — самые яркие — были напечатаны в журнале Былое,

1906). Эти донесения — яркая иллюстрация упомянутой ролевой структуры, где отношения с властью лексически и риторически представлены как семейные и любовные. Первое послание, помеченное «секретно», от 6 марта 1848 г.:

Здесь, думаю, как и всюду, все разговоры превратились в толки о Франции; но здесь в Благоговейной Царелюбивой Москве, дай Бог чтоб и всюду так было, говорят с презрением о Парижских происшествиях. *Как сладостно верному доложить о верных русских чувствах, слышать один сердечный голос... с радостью даже побожусь, что мне не случалось ни самому, ни чрез других, ничего иного слышать.* [...] *Добрая Москва, твердо основание ее Святой Вере к Богу, в детской приверженности к Помазаннику, Царю Великому Законному, любовь к Коему, слита в душах с Законом Православной Веры.* Кто не согласится, что и в Москве люди, а в людях и грехи и страсти, но основание твердо. Посмотрите теперь во время поста, как умилительно видеть толпы, но куда идущие? В Церковь, на молитву, на исповедь, к Святому Божественному причащению. Молотся, исповедая чистую Веру: а кто верит, тот верен (Былое, 1906: 73–74).

Интересно, что в донесении агента фактов почти нет, и из жанра сугубо информационного оно превращается в лирический. Автор донесения сообщает по сути лишь одно: причин для беспокойства у властей нет. Адресуясь к Дубельту, он выдерживает ролевой речевой канон, прямо упоминая о подданных как о детях: москвичи выражают простодушную инфантильную радость и преданность монарху. Сентименталистская сосредоточенность не на информации, а на чувствах (в том числе и самого агента) соседствует с официальной уваровской программой: православие — гарант приверженности «толп» монархическому способу правления (впрочем, о самом С. С. Уварове в том же «наблюдении» говорится вовсе не комплиментарно (О наблюдении в России по случаю политических переворотов в Европе..., 1848: Л. 22).

Помимо всего, акцентируя в «эпистоле» искренность, душевность и личную преданность, агент тем самым выносит ее из жанра доноса и превращает в дружеское, семейное послание. Себя же он представляет не сотрудником «на зарплате», но человеком, столь переполненным патриотическими чувствами, что не может не поделиться ими.

Второе донесение более обширно:

«Впечатление, произведенное Манифестом, возвестившим о смутах на западе Европы, были *слезы восторженных русских чувств.* Я приехал в Дворянский клуб в ту минуту, когда шел вопрос, каждого тут бывшего, к приезжающего знакомому: „Читали ли?“ [...] Да чтож вы поопоздали, вот один из членов

прекрасно придумал как столпились в газетной, что прочитал вслух». Слыша это, *сильно билось во мне приверженное сердце, я слезлив в радости, а совладал с моими глазами, чтоб с осторожною зоркостью видеть глаза других и у многих видел их влажными. Свидетельствуюсь Богом всемогущим, что лесть никогда не управляла ни языком, ни пером моим; покойный отец мой удалил от души моей это зло*; продолжаю писать как истинно видел, как слышал; и слышал весьма заметно было что голос дребезжал в отзывах о Франции, Австрии и Пруссии, но когда речь возвращалась к Манифесту, речи становились тверды; твердость как бы почерпалась из самого Манифеста, он так всем был по сердцу, как будто каждый участвовал в написании его (Былое, 1906: 74).

В этом донесении соединились и лирика, и одический восторг, и интимная составляющая (так, агент сообщает обстоятельства семейной жизни: воспитание, полученное от отца). Описательная часть письма составлена как жанровая сценка, что роднит его с частным посланием, а отказ от сухого официального тона и разговорная лексика призваны подчеркнуть безыскусность автора, его искренность и близкие, доверительные отношения с адресатом. Впрочем, из того же послания становится ясно, что просьба о предельной откровенности исходила от самого Дубельта: «Не могу притом скрыть переливая в сердце мое каждое слово Вашего драгоценного доверия и „*чтоб я писал со всюю откровенностью*“ чтоб не доложить что после послышался при вопросах кто бы писал? одного какого-то отзыв „*чай Киселев писал*“» (там же).

Власть (в лице Дубельта и III отделения вообще) выступает одновременно и близким другом, перед которым нет секретов и душевных тайн, и духовным наставником, исповедником, перед которым автор, как на духу, обнажает душу и помыслы — как чужие, так и свои. Отсюда и параллелизм с отцом, который якобы отучил автора от лести еще сызмальства. Некоторые выдержки из донесения напрямую соотносятся с первой «секретной» инструкцией Бенкендорфа, риторика которой наверняка продуцировалась и позже: «Я считаю что лутчие агенты для чиновника — это добрые дела, коих он был исполнителем от Благодарного Начальства, — благодарность редка, но неподкупна, когда сам исполнитель неподкупен...» (там же: 75).

Третье донесение (от 30 марта 1848 г.), обращенное к Дубельту, — наиболее интимное и сентиментальное:

При приказании Вашем от 23-го Марта дозволить мне писать неофициальным письмом, Вы как будто *милостиво угадали*: что у меня около глаза *сильный ревматизм, такой, что сегодня мне поставили шпанскую мушку к затылку*

и что я должен даже докладывать Вам, диктуя моему писарю, в верности и глубокой скромности коего не имею причин сомневаться [...]. И пишу к Вам с неограниченною искренностию как к отцу родному, прося Вас нисколько не думать о моей простуде и неостанавливаться удостаивать меня Вашими приказаниями. И с больным глазом, Господь не лишает меня света душевного, и в ревматизме, я пламенно усерден в верноподданнической службе и убеждаю Вас при поставленной мне шпанской мушке на затылке, ни как небрять мне затылка от Вашего драгоценного мне доверия (Былое, 1906: 75–76).

Этот агент без обиняков выписывает нужную иерархию, называя Дубельта «отцом» (так же, как и Ф. В. Булгарин, часто именовавший Дубельта в своих письмах «отцом и командиром»). Нет никаких импликаций, все предельно прямо: Дубельт — «отец», к которому обращена нежная сыновняя исповедь. Более того: агент выражает уверенность, что его физическое недомогание непременно встретит сочувствие шефа жандармов (как действительно близкого человека), и поэтому, как попечительный сын, успокаивает его на этот счет.

Донесение сочетает физиологические подробности (агент сообщает даже о месте, к которому ему по нездоровью поставили шпанскую мушку) и «высокий штиль» (обилие архаизмов, инверсий), с помощью которого подчеркивается важность, возвышенность темы:

Дай Бог чтоб я и впредь Вам мог докладывать таковые сведения о русском духе. Ей Богу теперь все тихо, у русских в душе Бог и Царь что этого тверже и верте что это здесь всему основание. Простите мне мою неограниченную искренность Батюшка Леонтий Васильевич, все единогласно отдают цену Москве, что при безтолковости Щербатова и неспособности Лужина быть обер-полицеймейстром, все держится внутреннею привязанностию к Царю и личною привязанностию к ВЕЛИКОМУ Духу ГОСУДАРЯ (там же: 77).

Примечательно, что и здесь агент подчеркивает прямую, интимную связь подданных (в этом случае — москвичей), царя и бога, минуя местное руководство.

Впрочем, нельзя не отметить, что это донесение содержит орфографические и пунктуационные ошибки, что свидетельствует об относительно невысоком уровне образования агента и, возможно, его социальной среде, что не могло не отразиться и на своеобразии стиля его послания. Вероятно, в своих донесениях и записках агенты III отделения ориентировались на речевое поведение своего начальника: абсолютное большинство подобных донесений адресовано именно ему. Образцом текста и риторики может служить часто цитируемое письмо Дубельта к жене:

Ежели я, вступя в корпус жандармов... буду опорой бедных, защитой несчастных; ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжбы делам прямое и справедливое направление, — тогда чем назовешь ты меня? [...] и я, согласясь вступить в корпус жандармов, просил Львова, чтобы он предупредил Бенкендорфа не делать обо мне представление, ежели обязанности благородные будут лежать на мне... (Русская старина, 1888: 501).

Еще одним косвенным свидетельством может служить любопытный документ — личные заметки Дубельта, написанные им в 1830–1862 гг. Несмотря на то что обычно заметки — текст личного характера, создается впечатление, что глава тайной полиции писал их, явно имея в виду стороннего читателя, причем читателя близкого к императору, в любой момент могущего передать ему их содержание и тон. В массе своей записки представляют собой обширный панегирик самодержцу, а обилие восторженной сентиментальной лексики и трескучей риторики в официальном духе и вовсе иногда навевают мысли о иронии автора:

Все великое и прекрасное так свойственно нашему Государю, что уж и не удивляет! Отеческое его попечение о голодных губерниях доказывает не только доброту, но какую-то рыцарскую добродетель. Про Александра Павловича говорили, что он был на троне — человек; про Николая надо сказать, что это на троне ангел — сущий ангел. Сохрани только, Господи, его подольше, для благоденствия России (Российский Архив, 1995: 116),

— писал Л. В. Дубельт в 1840 г.

В 1848–49 г г. «личные» записки по своей риторике становятся схожи с цитируемыми агентскими донесениями:

«Я думаю, как Государю должно быть весело, что в такой сумятице и общей европейской сумасбродной бестолковщине русский народ ведет себя так прекрасно! Сердце радуется и растет от гордости, как сравнишь русских с негодными иностранцами [...]. Они свободны, а мы в неволе; однако же, кому из нас лучше? Мне кажется, этот величественный вид спокойствия России должен очень утешать Государя и бесить Европу и наших передовых людей» (там же: 129–130).

Сложно (точнее, невозможно) определить степень искренности Дубельта (кажется, такое слово в принципе неприменимо к человеку, управлявшему III отделением). Скорее, с его стороны это было продуманной дипломатической стратегией.

Косвенным свидетельством этой стратегии является и созданный Дубельтом устойчивый образ всемогущего (благодаря близости к императору) начальника тайной полиции — умного, всезнающего, беспощадного к «супостатам», но ласкового к обиженным и милостивого к непредумышленно согрешившим. Обилие мемуарных характеристик такого «Дубельта» — доказательство его удачной работы над «имиджем» как собственным, так и всего ведомства. Дубельт якобы мог дать пощечину доносчику с ложным обвинением (правда, позже это оспаривал его сын), а один из современников вспоминал следующее:

Однажды, Булгарин какой-то статьей навлек на себя неудовольствие государя. Николай Павлович приказал Дубельту сделать Булгарину *«родительское увещание»* (снова тот же дискурс отца и неразумного дитяти! — С. В.) Призвали редактора «Северной Пчелы» к Леонтию Васильевичу.

- Становись в угол! Скомандовал он Фаддею.
- Как, ваше превосходительство?
- Как школьники становятся: носом к стене (Исторический вестник, 1887: 168).

Схоже описан и эпизод о вызове А. И. Герцена в III отделение:

Герцен, где-то в гостях, упомянув в будочнике-грабителе, заметил, что полиция обивает хлеб у мошенников... На другой день его пригласили в III Отделение.

- Ну, напроказили? — встретил его Дубельт. — Извольте ехать обратно в Вятку.
- Что же я напроказил?.. (там же: 173).

Сложно представить, что Л. В. обращался к Булгарину на «ты», а по отношению к Герцену употреблял слово «напроказил», больше подходящее к обращению строгого учителя к младшему школьнику. Эти анекдоты, имеющие весьма косвенное отношение к реальности, важны как иллюстрация выстроенного к концу 1840-х г. г. Дубельтом образа. III отделение и его функционер выглядят строгим, но справедливым родителем, строгость которого свидетельствует об отеческой, личной любви к своим отпрыскам.

Важный казус, полноценно (и уже двусторонне) демонстрирующий такую риторику (и отношения) — доносы (точнее, донесения) непосредственного подчиненного Дубельта — подполковника штаба корпуса жандармов Александра Дмитриевича Васильева на своего начальника. Курьез состоял и в том, что адресатом этих донесений на Дубельта

был сам Дубельт. Автор письма демонстрирует высшую степень личного доверия к шефу, причем обращается к нему не столько как лицу официальному, нарушающему профессиональную этику и злоупотребляющему своим служебным положением, но напротив, как к личному недоброжелателю, обманувшего его в лучших чувствах, или как к жестокому отцу, ранившего чувства сына. Васильев также широко использует сентименталистски и романтически окрашенную лексику:

Милостивый Государь Леонтий Васильевич!

Решаюсь писать к Вам вполне прямо, *необходимо однажды высказать все. Вы не любите меня и хотя обнимаете подчас, говоря о дружбе, расположении старика Д<убельта>, но я знаю очень основательно как должен быть осторожен от этой ласки; много раз Вы собирали удар, чтобы сгубить меня,* и право, я должен верить в какое-то предопределение, что до сих пор Вам не удалось *истребить меня*, а мне при шести просьбах об увольнении и переводе не удалось избежать Вас [...]. *Вы невзлюбили меня за то, что я вошел в корпус не Вашим творением, а собственным поступком и волею Государя, за то что со всем чистодушием, вполне чуждый и понятия об интригах, став подле моего шефа, я действовал неуклонно честно и часто противно Вашей воле* (Российский Архив, 2005: 127–128).

Жалобщик упрекал Дубельта в корыстолюбии и денежных аферах, нетрудовых доходах с использованием служебного положения, страсти к карточной игре, любовных связях с актрисами и слишком больших тратах, не согласующихся с его официальным жалованием, а также в разложении морального духа подчиненных.

Важно, что донесению был дан официальный ход: оно было отправлено «наверх», прочитано Николаем I и отдано на рассмотрение того же Л. В. Дубельта. Тот внимательно перечел донесение и педантично ответил на каждый упрек Васильева, нимало не смутившись ни содержанием жалобы, ни ее формой, что неудивительно: во многом парадигму, в которой подобные отношения были нормой, Дубельт создал сам. Васильев был не только не уволен, но и не понес никакого наказания: в созданной Дубельтом системе искренний и откровенный «сыновний» порыв подчиненного скорее достоин был одобрения.

Полная реализация «ролевой игры» и ее речевых характеристик может быть найдена в доносах (или донесениях) Ф. В. Булгарина. Несомненный журналистский талант и чутье Булгарина делают его донесения рельефным отражением созданной Л. В. Дубельтом системы отношений. В доносах Булгарина примерно до конца 1830-х гг. лексически фамильярного и личного почти ничего нет — в 1820-х гг. это были

записки хорошего профессионала-журналиста, написанные живым, образным языком. Дальше стиль романтизируется, события — драматизируются, а метафоры становятся все более яркими. Так, к 1840-му году объекты доносов (в основном — журнальные конкуренты, в том числе М. П. Погодин и А. А. Краевский) превращаются в романтических злодеев, существование которых способно подорвать устои государства и привести к революции.

Обращения же к Бенкендорфу и к Дубельту, почти совпадающие по времени написания (в 1839 г. Булгарин адресовался к обоим) резко отличаются друг от друга. Стиль писем к Бенкендорфу неизменно остается в рамках официального (хоть и несколько подбострастного, но все же не нарушающего норм современного ему канцелярита). Несмотря на отдельные чрезмерно цветистые фразы, общий тон остается холодно-деловым. Таково, например, письмо Бенкендорфу от 10 марта 1839 г. — ответ на выговор «за личности» в статье «Северной пчелы»:

Подвергаясь безропотно Высочайшей воле, потщусь я впредь, как и доньше, свято исполнять оную, но для этого необходимо нужно, чтоб я знал, положительно, чего от меня требуется, подвергая меня личной ответственности [...] мне нельзя действовать по одним догадкам и домыслам... (Видок Фиглярин..., 1998: 436).

Совершенно иными в отношении стиля и лексики, но не прагматики, предстают последующие письма, адресованные Дубельту. Письмо от 18 апреля 1839 г., хоть и написано всего чуть более чем через месяц после процитированного, в корне отличается и посылом, и степенью драматизации, и интимности тона — здесь упоминаются и дети, и честь, и преданность, и сантименты:

Письмо Вашего Превосходительства тронуло меня до глубины души! Клянусь Вам детьми, Богом и честью, что отныне нет у Вас человека приверженнее меня! Жажду доказать Вам мою искреннюю и беспредельную преданность! [...] я [...] хотел только обнаружить пред Вами мою душу. [...] Между прочим я не умолчал и о том, что Вы на меня гневались, но об Вас говорил с таким чувством, что один из старых остряков назвал меня в шутку Фаддеем Дубельтовичем (там же: 444–445).

Здесь Булгарин подчеркивает все ту же метафору семейных отношений, обиняками навязывая отцовско-сыновние отношения между Дубельтом и собой — скорее всего, выдумав «Фаддея Дубельтовича» для дополнительной демонстрации преданности «отцу».

Еще в одном письме (от 17 декабря 1839 г.) Булгарин пишет, что желает говорить с Дубельтом «не как с начальником III отделения, а как с добрым, благородным человеком, которого я истинно люблю и душевно уважаю и готов доказать это всеми зависящими от меня средствами» (Видок Фиглярин..., 1998: 455–456). В послании от 30 апреля 1844 г. он ретроспективно выстраивает модель «отца и сына» в отношении Бенкендорфа, хотя во время своего прямого общения с тем никаких подобных «семейственных» названий он себе не позволял: «...граф Александр Христофорович [...] как нежный отец утешал меня в моих горестях и возбуждал мужество и охоту к трудам, которые он признавал полезными» (там же: 461).

В дальнейших посланиях Дубельту «интимная» составляющая все более становится заметна. В письме от 21 ноября 1844 г. Булгарин укоряет: «Мне весьма хорошо известно, что Вы никогда меня не любили... Но это тем более делает вам чести и возлагает на меня тем большую благодарность, ибо, не любя меня, Вы мне делали добро...» (там же: 467).

Весьма характерен и ответ Дубельта (от 23 ноября 1844 г.) на это страстное послание: вполне отдавая себе отчет в характере Булгарина, его целях, методах и средствах их достижения, Дубельт, оставаясь в рамках той же «семейственной» и интимной риторики, демонстрирует на редкость едкую, почти ледяную иронию:

Обидели вы меня, мой любезный Фаддей Венедиктович! — Ну да Бог с вами, — я уверен, что Вы это сделали без умысла, а просто от того, что левою ногою встали с постели, или заяц перебежал вам дорогу, или черная кошка махнула перед вами хвостом [...] я слишком горд, чтоб называть любезными моему сердцу тех, кого не люблю. — Но любя вас, скажу откровенно, что лучшее средство заставить не любить себя состоит в том, чтоб сомневаться в приятелях и упрекать их. Возвращаю вам ваше письмо с надписью графа А. Ф. Орлова. Возвращаю, как документ, что я люблю вас — и будьте уверены, что многого, очень многого надо, чтоб я вас разлюбил. Впрочем, воля ваша, верьте или не верьте, как вам угодно; я, как пономарь, отблаговестил, да и долой с колокольни (там же: 468).

Позже Булгарин переходит с официального обращения «милостивый государь» на игриво-личное «отец и командир», уже обращением подчеркивая «семейную» иерархию.

Подчас Булгарин настолько сильно эксплуатирует «любовно-семейную» риторику в письмах, что они напоминают послания несчастного любовника, нежно упрекающего партнера в холодности:

Отец и командир!

Я не знаю, как Вас называть! Милостивый государь и Ваше Превосходительство — все это так далеко от сердца, все это так изношено, что любимому душою человеку — эти условные знаки вовсе не идут! — А я люблю и уважаю вас точно душевно — Ваша доброта, Ваше снисхождение, Ваша деликатность со мною — совершенно поработили меня — и нет той жертвы, на которую бы я не решился, чтоб только доказать Вам мою привязанность! [...] Мне бы следовало немедленно явиться к Вам — и вот я на коленях умоляю Вас извинить меня и позволить не являться, по крайней мере некоторое время — пока грусть моя несколько утихнет и нервы успокоятся (письмо от 23 апреля 1845 г., Видок Фиглярин..., 1998: 476).

Однако же, любовная риторика не отменяет прагматику: объявленная в письме любовь оказывается небескорыстной, и процитированные излияния предваряли просьбу дать взаймы денег.

Иногда Булгарин доходит до того, что называет III отделение «маменькой»:

Добрейший и благороднейший отец командир Леонтий Васильевич!

Когда надобно сделать кому зло — каждый говорит, что это по его части, а когда надобно делать добро — все говорят: не по моей части! Только одно III-е отделение — общая маменька — если не в силах сделать добро — то утешит! И то благодеяние! (письмо от 24 февраля 1846 г., там же: 482).

Талантливый журналист и знаток человеческих слабостей хитрец Булгарин быстро освоил предлагаемые роли и лингвистические отношения, и использовал их из собственных соображений и выгод. Так, выстраивание диалога «отец» — «чадо» перемещало донос из добровольного действия в необходимое — доносчик был как бы движим чувством долга рассказать, исповедоваться отцу в знании о нехороших делах, творящихся вокруг. Тем самым моральная ответственность за социально неодобряемое поведение — донос — автоматически снималась с автора. Интимность тона и лексики призвана была перевести донос из регистра практической выгоды, холодного расчета в жанр доверительной приятельской или сыновней беседы.

В период с 1830-х до 1856 гг. поэтика доносов и донесений агентов формировалась на пересечении двух векторов: с одной стороны, под влиянием мейнстримных и популярных в массе читателей литературных направлений (прежде всего — сентиментального и романтического), с другой — подчиняясь иерархической и коммуникативной структуре, навязанной руководителями III отделения. Конечно, среди донесений

рассматриваемого периода было немало и написанных в «реалистической» манере, однако они схожи своим «духом» и акцентированием близости к власти, отказом от официальных формул и сухого языка.

Л. В. Дубельт действительно преуспел в построении нового образа «благородного жандарма» — вежливого до нежности, кроткого и как будто искренне печалившегося о грехах тех, кто попадал в III отделение. Этот образ инициировал и развил соответствующий литературный стиль поступающих к нему донесений и доносов.

О распространенности этого «имиджа» тайной полиции и ее начальства, равно как и об ироничном к нему отношении просвещенного общества, косвенно свидетельствует сатира А. К. Толстого «Сон Попова» (1873 г.). Среди персонажей есть «лазоревый полковник», манерами и риторикой весьма напоминавший Дубельта и демонстрирующий соответствующее речевое поведение (курсив мой. — С. В.):

Но дверь отверзлась, и явился в ней
С лицом почтенным, грустию

покрытым,

Лазореый полковник. Из очей

Катились слезы по его ланитам.

Обильно их струящийся ручей

Он утирал платком, узором шитым,

И про себя шептал: «Так! Это он!»

Таким он был едва лишь из пелен!

О юноша! — он продолжал, вздыхая
(Попову было с лишком сорок лет), —
Моя душа для вашей не чужая!

Я в те года, когда мы ездим в свет,

Знал вашу мать. Она была святая!

Таких, увы! теперь уж боле нет!

Когда б она досель была к вам

близко,

Вы б не упали нравственно так низко!

Но, юный друг, для набожных сердец

К отверженным не может быть

презренья,

И я хочу вам быть второй отец,

Хочу вам дать для жизни

наставленья.

Заблудших так приводим мы овец

Со dna трущоб на чистый путь

спасенья.

Откройтесь мне, равно как на духу:

Что привело вас к этому греху?

(Толстой, 1963: 440–441)

С уходом Л. В. Дубельта со службы в 1856 г. и с новым царствованием во многом уходит выстроенная и иерархическая система. Приблизительно с 1850-х гг. «реализм» и «средний стиль» в языке донесений становятся господствующими, хотя четкую временную границу провести трудно. Сентиментально-романтические «интимные» послания встречаются и гораздо позже, в 1880-х гг. (см., например, Былое, 1906: 87), однако они кажутся уже функцией не особых отношений с властью, а психического состояния их авторов.

Источники

Былое. — 1906. — Т. 11.

Видок Фиглярин : письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / под ред. А. И. Рейтблата. — М. : Новое литературное обозрение, 1998.

Исторический вестник. — 1887. — Т. 10.

Ломачевский А. И. Из воспоминаний жандарма 30-х и 40-х годов. I. — СПб. : Типография В. Грациановского, 1880.

Российский Архив : история Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. VI / под ред. А. Л. Налепина. — М. : Студия ТРИТЭ, Российский архив, 1995.

Российский Архив : история Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. / под ред. А. Л. Налепина. — М., 2005. — Т. XIV.

Россия под надзором : отчеты III отделения (1827–1869) / сост. М. В. Сидоровой, Е. И. Щербаковой. — М. : Российский Фонд культуры и др., 2002.

Русская старина. — 1888. — Т. 11.

Стогов Э. И. Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I / под ред. Е. Н. Мухиной. — М. : Индрик, 2003.

Толстой А. К. Собрание сочинений в четырех томах. В 4 т. Т. 1 / под ред. И. Ямпольского. — М. : Издательство художественной литературы, 1963.

Шильдер Н. К. Император Николай I : его жизнь и царствование. В 2 т. Т. 1. — СПб. : Издательство А. С. Суворина, 1903.

ЛИТЕРАТУРА

Бибиков Г. Н. А. Х. Бенкендорф и политика императора Николая I. — М. : Три квадрата, 2009.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. В 4 т. Т. 1. — СПб., М. : Товарищество М. О. Вольф, 1903.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. — М. : НЛЮ, 1998.

Оржесховский И. В. Самодержавие против революционной России. 1826–1880. — М. : Мысль, 1982.

Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. — М. : ОГИ, 2000.

Рейтблат А. И. Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции : статьи и материалы. — М. : НЛЮ, 2016.

Voloshina, S. M. 2019. "Donosy i agent-skiye doneseniya kak mekhanizm 'intimnogo' vzaimodeystviya s vlast'yu [Denunciations as Means of 'Intimate' Interaction with the State Authority]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics] III (2), 109–127.

SVETLANA VOLOSHINA

PHD IN PHILOLOGY, LECTURER, RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES (MOSCOW)

DENUNCIATIONS AS MEANS OF "INTIMATE" INTERACTION WITH THE STATE AUTHORITY

Abstract: The present article reviews the phenomenon of denunciation during the reign of Nicholas I. Due to the ultimate authoritarian regime, representative bodies and any form of the political opposition were virtually non-existent. So was the possibility to publicly express an opinion different from the official one. Hence various covert forms of communicating with the state authorities, denunciation in the first place, were flourishing, especially after the notorious Third Section was founded in 1826. Being a means of direct, one-to-one contact with the power, detouring official bureaucratic routes, denunciation notes developed into a certain form of private, almost intimate messages. They acquired, on the one hand, a resemblance to an appeal to a deity and a confession, and on the other hand, definite features of love letters, imposing traditional patriarchic relations of the almighty masculine power figure and a "womanly" humble but admiring petitioner. Denunciation as a form of a soft power was one of the few possible ways to make an influence on the decision-making of the state authorities. After the death of Nicholas I this intimate and amorous communication with the power ceased although to the genre of denunciation stayed.

Keywords: Denunciation, Reports, Third Section, Power, Nicholas I, Benkendorf, Dubelt.

DOI: 10.17323/2587-8719-2019-3-2-109-127.

REFERENCES

- Bibikov, G. N. 2009. *A. Kh. Benkendorf i politika imperatora Nikolaya I* [Benkendorf and Policy of Emperor Nicholas I] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Tri kvadrata.
- Byloye* [The Bygone]. 1906 [in Russian]. 11.
- Dal', V. I. 1903. [in Russian]. Vol. 1 of *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka Vladimira Dalya*. 4 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg] and Moskva [Moscow]: To-varishchestvo M. O. Vol'f.
- Dmitriyev, M. A. 1998. *Glavy iz vospominaniy moyey zhizni* [Chapters from Memories of my Life] [in Russian]. Moskva [Moscow]: NLO.
- Istoricheskiy vestnik* [Historical Bulletin]. 1887 [in Russian]. 10.
- Lomachevskiy, A. I. 1880. *Iz vospominaniy zhandarma 30-kh i 40-kh godov* [From a Gen-darme's Memoirs of the 30s and 40s] [in Russian]. 1. SPb: Tipografiya V. Gratsianovskogo.
- Nalepin, A. L., ed. 1995. *Rossiyskiy Arkhiv* [The Russian Archive]: *istoriya Otechestva v svidetel'stvakh i dokumentakh XVIII–XX vv.* [History of Motherland in Certificates and Documents of 18–20th Centuries] [in Russian]. Vol. VI. Moskva [Moscow]: Studiya TRIT.E / Rossiyskiy arkhiv.

- , ed. 2005 [in Russian]. *Rossiyskiy Arkhiv [The Russian Archive]: istoriya Otechestva v svidetel'stvakh i dokumentakh XVIII–XX vv. [History of Motherland in Certificates and Documents of 18–20 centuries]* (Moskva [Moscow]) XIV.
- “O nablyudenii v Rossii po sluchayu politicheskikh perevorotov v Yevrope [On the Supervision in Russia on account of Political Coups in Europe]” [in Russian]. 1848. In *GARF [State Archive of the Russian Federation]*. 109/1/51/2/1–45.
- Orzhekhovskiy, I. V. 1982. *Samoderzhaviye protiv revolyutsionnoy Rossii. 1826–1880 [Autocracy Against Revolutionary Russia, 1826–1880]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Mysl'.
- Proskurin, O. A. 2000. *Literaturnyye skandaly pushkinskoy epokhi [Literary Scandals of Pushkin's Time]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: OGI.
- Reytblat, A. I., ed. 1998. *Vidok Figlyarin [Vidocq Figlyarin]: pis'ma i agenturnyye zapiski F. V. Bulgarina v III otdeleniye [Letters and Agent Notes by F. V. Bulgarin for the 3rd Section]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- . 2016. *Faddey Venediktovich Bulgarin: ideolog, zhurnalist, konsul'tant sekretnoy politzii [Thaddeus V. Bulgarin: Ideologist, Journalist, Consultant of the Secret Police]: ctat'i i materialy [Articles and Materials]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: NLO.
- Russkaya starina [Russian Antiquity]*. 1888 [in Russian]. 11.
- Shil'der, N. K. 1903. [in Russian]. Vol. 1 of *Imperator Nikolay I [Emperor Nicholas I] : yego zhizn' i tsarstvovaniye [His Life and Reign]*. 2 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Izdatel'stvo A. S. Suvorina.
- Sidorova, M. V., and Ye. I. Shcherbakova, comps. 2002. *Rossiya pod nadzorom [Russia under Supervision]: otchety III otdeleniya (1827–1869) [Reports of Third Section (1827–1869)]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Rossiyskiy Fond kul'tury.
- Stogov, E. I. 2003. *Zapiski zhandarm'skogo shtab-ofitsera epokhi Nikolaya I [Memoirs of Gendarme Staff Officer Under Nicholas I]* [in Russian]. Ed. by Ye. N. Mukhina. Moskva [Moscow]: Indrik.
- Tolstoy, A. K. 1963. [in Russian]. Vol. 1 of *Sobraniye sochineniy v chetyrekh tomakh [Collected Works in Four Volumes]*, ed. by I. Yampol'skiy. 4 vols. Moskva [Moscow]: Izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury.